

Константин Паустовский

Романтики

СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЕЧКО

Предисловие Вадима Паустовского

В творчестве Константина Паустовского особое место занимали «Романтики» и «Повесть о жизни». Первое произведение знаменует начало творческого пути, второе — его конец. Но вместе с тем есть в них и известное сходство. И если «Романтики» вышли в свет в виде сравнительно небольшой повести, то лишь потому, что они были сокращены самым безжалостным образом. «Повесть о жизни» писалась более двадцати лет, «Романтики» — около двадцати. Даты 1916–1923, проставленные в конце этой книги, следует понимать условно. Верна только дата начала, в самой же книге частично отражены ситуации, имевшие место уже в конце 20-х годов. Отец не отразил того, что неоднократно возвращался к рукописи, дополнял ее, изменял те или иные эпизоды, устранял отдельных героев и вводил новых, непрерывно продолжал совершенствовать стиль. И так почти до середины 1930-х годов, когда впервые предоставилась возможность ее опубликования.

Объединяет эти книги еще и то, что они написаны от первого лица и обе в большой степени автобиографичны, в то время как отдельные места от первого лица, скажем, в «Кара-Бутазе» или «Черном море», носят скорее условный характер.

Ни одна из его книг не вызывала столько разноречивых отзывов, как «Романтики». Кто полюбил ее в ранние годы, сохраняет к ней привязанность и позже. Запомнились слова молодого врача, совпадающие с моим восприятием книги:

— Когда перечитываю «Романтиков», каждый раз словно озонируюсь. Не знаю почему. И совсем независимо от содержания... Там есть что-то такое «между строк». — После этого он неожиданно произнес фразу, сказанную одним из героев книги: — Блеск и величие жизни!

Для отца в пору его молодости «Романтики» стали своего рода лирическим дневником, второй жизнью, жизнью в воображении, без которой он не мог существовать. Он повсюду таскал с собой неоконченную рукопись, называя ее в дневниках и письмах «Мертвая зыбь». С годами рукопись разрослась необычайно.

«Повесть о жизни», казалось бы, мало похожа на «Романтиков», но все же можно проследить явную их преемственность. И не только в отдельных совпадениях (фронт 1914–1916 гг.), но и

в привычке автора дополнять и преобразовать реальную жизнь, в первую очередь свою собственную.

Отец прожил сложную и далеко не легкую жизнь. Многие из нее отражены в этом большом биографическом романе, но многое и не отражено. Он жил вместе со страной, скитался по стране в дни тяжелых для нее испытаний, не раз подвергался смертельной опасности, перенес потерю многих близких людей.

С самых ранних лет он стремился к писательству как самовыражению и научился очень многим жертвовать для своей творческой работы.

В личной жизни он был далеко не однозначен. Мог быть и снисходительным, и нетерпимым, не раз обретал и терял друзей, трижды был женат, причем все его жены были личности незаурядные.

Мои родители познакомились в конце 1914 года, когда оба работали в санитарном поезде. В следующем году сестра милосердия, как тогда говорили, Екатерина Степановна Загорская возвращается в Москву.

Несколько слов о ней. Она родилась в Рязанской губернии в семье сельской учительницы и священника. Рано потеряла родителей и воспитывалась старшей сестрой Лелей (Еленой Степановной Загорской), преподававшей в гимназии города Ефремова. Училась в Рязанском

епархиальном училище, затем на Высших женских курсах в Москве. Завершила образование в Париже.

После работы в санитарном поезде она уезжает в Севастополь, где преподает французский язык в Мореходном и Коммерческом училищах. Оставив полевой санитарный отряд, отец едет следом и приезжает к Екатерине Степановне (уже невесте) в Севастополь. Потом оба оказываются в Таганроге, откуда возвращаются в Москву.

Летом 1916 года они венчаются в ее родном селе. В блокноте отца есть такая запись:

«Поля, перелески, синие дали — ея Родина.

У ветряной мельницы. Подлесная Слобода. Церковь. Могила мамы. Запущена, вся в травах. Их сад. У о. Алексея.

Простенький деревянный домик. Матушка с заплаканными глазами. О. Алексей аскет, немного суровый. Чай. Дали за окном. С девочкой Надей в их сад. Хатидже радостна, как девочка... К Аксюте — няне Хатид-же. Ея уютное ласковое детство, овейанное любовью...»

Почему — Хатидже? Просто так ее называли молодые татарки в крымской приморской деревушке, где она проводила предвоенное лето. Отцу очень нравилось имя Хатидже — так по-татарски звучит Екатерина. Так оно вошло в его письма и дневники тех лет, так он ввел его в

«Романтиков».

В тревожном 1917 году они сотрудничали в московских газетах и журналах, а весной 1918-го перебрались в Киев, к матери отца. Затем с 1919 по 1922 год — Одесса, совместная работа в газете «Моряк». Мама заведует иностранным отделом, отец — редактор. После Одессы — скитания по Югу. Сухум, Батум, Тифлис. В 1923 году — возвращение в Москву, поиски работы, сотрудничество в разных журналах, жизнь за городом, в Пушкине, затем первая комната, уже своя, в подвальчике, в Обыденском переулке, где я появился на свет. Вскоре и квартира на Большой Дмитровке.

В «Повести о жизни» и других книгах отца отражено много событий из жизни моих родителей в ранние годы, но, конечно, далеко не все. Немало рассказов об октябрьском перевороте в Москве, о гражданской войне на Юге, о голоде в Одессе, тропической малярии и неистребимом людском жизнелюбии я слышал еще в детстве. И должен сказать, что в устном исполнении очень многое оставляло более сильное впечатление. Даже чисто «литературно». Хотя бы эпизод, как отца чуть не расстреляли по ошибке. Или веселую историю о том, как мама в блокадной Одессе с большой точностью предсказала начинающему Бабелю его будущий литературный успех. (Это обстоятельство

косвенно нашло отражение в «Романтиках», где девушки-татарки приходят к Хатидже гадать по руке.)

Итак, Хатидже — если не двойник Екатерины Загорской, то все же обладает с ней несомненным сходством.

Имеют своих реальных прототипов и другие персонажи «Романтиков», причем в «Повести о жизни» они нередко названы собственными именами. Истории из жизни журналиста Василия Регинина (в частности, приключение со львами) дали материал для образа Любимова. Начальник санитарного отряда Вронский встречается в «Романтиках» как Козловский, в «Повести о жизни» он назван Тройским.

Все годы учения в гимназии отец сидел за одной партой с Эммануилом Шмуклером (1892–1957), впоследствии художником. Их дружеские отношения продолжались и впоследствии. Шмуклер стал прототипом Винклера в «Романтиках», а черты другого своего гимназического друга — Евгения Станишевского приданы Станевскому. Однако Шмуклер вовсе не погиб в юности, а дожил до почтенных лет, а Станишевского, как признается автор «Повести о жизни», он после гимназии потерял из виду.

Как видим, персонажи отнюдь не совпадают с прототипами и с жизненным материалом писатель

обращается весьма свободно.

Особенно ярким примером служит история «старого Оскара» и потерянной оперной партитуры. Прототипом этого персонажа был Оскар Федорович Иогансон (р. 1858) — преподаватель немецкого языка в 1-й киевской гимназии, где учился отец. Подробно эпизод с потерянной оперой рассказан в «Повести о жизни», и мы знаем, что он завершился вполне благополучно.

Однако в «Романтиках» Оскар умирает. Возможно, романтический настрой автора требовал трагических ситуаций и сильных переживаний. Умирает и Винклер, хотя его прототип остался в живых, умирает Наташа — так же как героиня «Повести о жизни» Леля Свешникова.

Об этих героинях следует сказать подробнее и вернуться к «женской теме».

В «Романтиках» присутствует одинаковая по силе любовь главного героя к двум женщинам, что не редкость в мировой литературе. Но нередко многие авторы сами относятся к этому факту с недоумением, не вдаваясь в психологические сложности. Паустовский хочет разобраться в своей любви как в стимуле к творчеству. Именно в любви к двум.

Он отстаивает право на такую любовь, даже за счет вымысла. Ведь только одна из героинь соответствовала прототипу, существовавшему в

действительности в его жизни на протяжении значительного отрезка времени. В облике другой — собраны воедино образы, порожденные несколькими увлечениями, достаточно сильными и искренними.

Но читатель не подозревает об этом. Он уверен в «образной цельности» и в реальности второй героини, как и первой. Вымысел приобретает убедительность самой жизни и, может, даже превосходит ее. Не в этом ли и заключается сама сила литературы?

Обе героини «Романтиков» очень обаятельны, но крайне не похожи одна на другую. Они дополняют друг друга и, возможно, в целом создают тот собирательный женский образ, что так мучительно ищет главный герой книги.

Если с прототипом Хатидже все ясно, то с образом второй героини книги — Наташи — дело обстоит сложнее. Здесь можно говорить о нескольких прототипах сразу.

На фотографии времен Первой мировой войны — сестры милосердия и санитары полевого санитарного поезда 226 вместе с главным врачом Иваном Петровичем Покровским. Среди сестер — Екатерина Загорская (Хатидже). Но в данном случае нас уже интересует и прототип Наташи. Это Елена Крашенинникова, или попросту Леля. Ее имя затем использовано в «Повести о жизни», где

героиня, заболев, умирает на фронте, как и Наташа в «Романтиках».

Однако подлинная Леля не умерла. Вернувшись в Москву, она стала артисткой и играла в театре-студии Фореггера в 1920-х. Мои родители не раз были на спектаклях, встречались с ней и в дальнейшей жизни. Эта «цепочка» объясняет, почему у автора «Романтиков» героиня — артистка. Но по имени она пока еще не Наташа. Она получила это имя, по утверждению моей матери, после знакомства отца с сотрудницей РОСТА Наташей Морозовой.

И у Наташи Морозовой, и у Лели Крашениниковой оказалось много общего в характерах — некоторая капризность, резкость, склонность к неожиданным поступкам. Все это было совсем не свойственно Екатерине Загорской, но, видимо, сочетание контрастов женских образов привлекало писателя. Это к тому же давало простор воображению.

Поэтому, когда ко мне обращались читатели, и в особенности читательницы, с неизменным вопросом о Леле: «была — не была», я обычно уклонялся от ответа. Единственный раз сделал исключение для пожилой тетки моего друга — Софии Владимировны Т. (это было еще при жизни отца). Человек очень интересной судьбы, она объехала полмира, кого только не знала — от

последних народовольцев до членов императорской фамилии. Разговаривать с ней всегда было исключительно интересно, но каждый раз она начинала мне читать свое любимое место из «Повести о жизни» и, конечно, — о смерти Лели. Кончилось тем, что я выложил ей правду и к тому же веско аргументировал ее. Она очень опечалилась и сказала:

— Я, разумеется, понимаю, что вы правы, но лучше бы вы мне этого не говорили...

Потом словно спохватилась:

— А колечко? То самое серебряное колечко, что ваш папа снял с руки умершей Лели и надел себе на мизинец. Он об этом писал. И он до сих пор носит его. Я была на литературном вечере, где он выступал, специально подходила поближе и очень хорошо все рассмотрела. Спросите у него, когда увидите...

Это меня заинтриговало, и при первой же встрече с отцом я все рассказал ему. Он слушал точно с таким же грустным выражением, как и у Софии Владимировны. Потом не спеша протянул руки, на которых, как обычно, не было никаких колец... Так кончилась эта маленькая история о том, как простой читатель сумел проявить силу воображения, равную писателю.

Смерть Лели в «Повести о жизни» нельзя считать вымыслом, скорее это символ. Но символ

не абстрактный, а воплощенный в конкретную драматическую ситуацию. «Война не есть дело человека» — вот истина, которую Паустовский усвоил для себя и как писатель хотел, возможно, наглядно донести до других. Видя войну «изнутри», он решил также «изнутри» показать ее плоды литературно.

Он потерял на войне двух братьев, но описал гибель любимой женщины и тоску оставшегося мужчины, потому что союз мужчины и женщины составляет основу жизни. Сам он, однако, не утрачивал на войне любимую, потому и собрал воедино черты нескольких героинь, чтобы создать более убедительный образ.

В третьей части «Романтиков» отсутствуют обе женщины, в которых влюблен герой, их место заняли фронтовые соратники. Лишь в конце как бы пунктиром появляется Наташа, чтобы вскоре умереть, а завершает книгу реплика Хатидже. Но в «Повести о жизни» обе героини как бы сливаются воедино в образе Лели Свешниковой, даже по чертам характера, и ее гибель становится главной потерей продолжающего жить еще многие, многие годы главного героя.

Две его основные автобиографические книги словно протянули друг другу руки.

Вадим Паустовский

I. ЖИЗНЬ

Старый Оскар

Была привычная горечь в этих разговорах со старым композитором в темном кафе.

Старик был еще строен для своих шестидесяти лет. Когда бывал пьян, то плакал, поносил свою службу — он был учителем немецкого языка в гимназии — и пытался незаметно засунуть в рукава исписанные нотами манжеты.

Он написал фантастическую оперу. Ни один театр не соглашался ее поставить, хотя старик уверял, что она не хуже вагнеровского «Тристана».

— Посмотрите на мои пальцы! — вскрикивал он и жалко тряс головой. — Это пальцы для клавиш и струн. О Генрих Гейне, Генрих Гейне, зачем он умер так рано! Я люблю старую западную жизнь, этих людей, которые умели смеяться и понимали музыку. Я люблю даже всех вас, хотя в гимназии вы издевались над Новалисом. Сотни раз я говорил вам: «Не пристраивайтесь к жизни. Скитайтесь, будьте бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квартала солидных людей».

Мы молча пили кислое вино и курили. Южный город шумел под белыми сентябрьскими звездами.

Пришел Сташевский — уверенный и насмешливый. Старик устало улыбнулся и замолчал.

— Блеск и величие жизни! — сказал вдруг Сташевский, пуская густые клубы дыма. — Блеск и величие жизни, — повторил он и замолчал. Говорил он отрывисто. Связь между его словами была неуловима для человека, плохо знавшего его.

— Оскар! — восторженно выкрикнул он. — Оскар, напишите оперу, чтоб в каждой ноте ревела жизнь. Понимаете, жизнь дурашливая, крикливая, как клетка с попугаями. Ну что, разве плохая тема? К черту ваших жен в ситцевых капотах! Задушите канареек и уезжайте в Вену. Это город для вас. Пейте там, плачьте на судьбу проституткам, шляйтесь по рынкам, возвращайтесь в свою комнату на рассвете, когда пахнет цветами и капустой, — и вы напишете великолепную оперу.

У Оскара задрожали руки.

— Он пьян, — сказал я тихо и отодвинул стакан Сташевского.

— Сидеть здесь глупо. Сосать настоящий на клопах коньяк и хныкать о загубленной жизни. Подходит смерть, и жаловаться на бога не приходится.

Он стукнул кулаком по столу.

Лакеи насторожились. Далекая зарница загорелась и погасла над морем.

Оскар вдруг заторопился и снял очки.

— Не кричите, Сташевский, — сказал он и оглянулся. — Помолчите, ради бога, десять минут. Не перебивайте, я сейчас расскажу вам о хорошей жизни.

Глаза его сузились, заблестели. Голос стал глух и слегка задрожал. Медленно пустело кафе.

— Да... еще мальчишкой, — тихо, будто припоминая, сказал Оскар, — у меня была одна мысль — создать такую музыку, чтобы кружилась голова. С детства у меня были длинные пальцы, пискливый голос и дерзкие мысли. Вырос я среди амбаров, где на три вершка лежала белая пыль и до потолка были навалены мешки с житом. Мой отец держал хлебную ссыпку. У нас в доме стояли конторки, и мои братья горбились над пудовыми гроссбухами, вписывая туда сотни и тысячи цифр. Бухгалтерия! Копейка должна сойтись с копейкой. Поэтому бухгалтера обычно такой мелочной народ.

Потом классическая гимназия, двойки, детские пороки, потные руки, замазанные чернилами. Я любил слизывать их языком, — они очень кислые и стягивают кожу.

Мать с тощим узлом волос на затылке, в башмаках с резинками, всегда с таким лицом, будто она выпила полынной настойки. Да, собственно, радоваться было нечему. Братья ходили в плотных коричневых парах, на коленях у них висели мешки,

из их комнаты воняло прелыми носками и креозотом, — у старшего была чахотка. Я их ненавидел.

Отец был солиден, молчалив и зол. Он носил очки и острые усы, как у любимого кайзера. Я ведь немец из колонистов, из этого рыжего, крепкого и злого кулачья! Из меня отец хотел сделать коммерсанта.

— Я хотел бы музыки, отец!

— Музыка? Болван! Ты хочешь учить барышень и играть танцы на маскарадах? Ты хочешь быть тапером, скотина!

Я был слаб и часто плакал. У меня уже тогда дрожала голова. Отец донял меня. Но я все же выбрал лучшее занятие, чем коммерция. Я стал учителем.

Потом случился брак. Как, почему — видит бог, не знаю. Жена — анемичная «фрейлен» из богатого дома. Она привезла в мою комнату розовую пудру, канарейку Мицци и запах женского пота. До сих пор я дрожу от отвращения. А эти нудные гости и родственники, обеды в столовой, где вечно какой-то желтый свет и нестерпимо пахнет луком из кухни.

Женившись, я сделал необычайное открытие. Это покажет вам, как я был еще глуп. Я понял, что семейная жизнь приспособлена к тому, чтоб ходили гости, чтоб обедать на клеенке, добродетельно

тискать рыхлую женщину и сейчас же после «любви» ссориться из-за больших расходов.

Но ночи были мои. Ночью я вставал, зажигал лампу и писал, усталый от классной вони, от сотен склонений и спряжений. Да... По ночам я писал. Мне не хватало нотной бумаги. Это было как чудо. Я слышал — не смейтесь! — я отчетливо слышал, как облака звучали над землей, фаготы высвистывали бешеный танец, и хлопали от ветра старые знамена. Я писал и слышал, как расцветала под моими пальцами легенда об иной жизни, где солнечные дали открываются одна за другой. Я населял веселыми толпами матросов и цыганок черные гавани. Выстрелы пистолетов сливались в барабанную дробь, и колокола качались и гремели во славу средневековых весен. Я понял, что значит восторг. Вы знаете это слово — восторг? — крикнул он и встал. — Я писал обо всем: о горечи любви и величии непередаваемого, о боге и вечной жажде перемен.

Он сел и надолго замолчал.

— Потом... — сказал он упавшим голосом. — Э-э, да что потом... Директора театров, рецензенты, обиженное молчание жены, черствая булка за столом, переводные экзамены, тошнота.

Он поморщился, отыскивая в кармане папиросу.

— Вы знаете, что мне говорили? «Ваша

музыка слишком фантастична и беспорядочна. Ваша музыка напыщенна. Поставить оперу трудно». Были, правда редко, любезные отказы. Обычно же отказывают по-хамски. Кое-что я играл на концертах, но это было мучительно. С утра оттирать на сюртуке пятна, завязывать галстук, уходить на концерт раздраженным и слушать жидкие хлопки. Стыдно! В газетах писали: «глуховатость тонов, отсутствие музыкальной механики». Вы слышите, — механики! Талант — как горчица к шницелю, а выше всего — «звуковая механика».

Были добродушные насмешки друзей. Они злее, чем самые злые насмешки родных. Тот же сонный покой и скука в глазах жены, дрянное вино, дешевые рестораны и несколько вас, молодых, — вот и все, что осталось.

Я побежденный, но я не сдамся, ибо я — победитель.

Широко шумел ветер, разбрасывая по столикам листья каштанов, уже тронутые ржавчиной.

Мы вышли молча. Шумели ночь и море, и девушки, не знавшие любви, шепотом звали за собой. Под ногами шуршала листва.

О творчестве

Я проснулся от гула в печной трубе. В саду слонялся сонный день, кутался в дым, тускло светился в подмерзших лужах.

Была такая тишина, будто весь город спит. Я сел к столу и написал несколько строк. Я толком не знал, о чем я буду писать. Обо всем. Об этой осени, о том, что кровь туго бьется в сердце и мокрый песок в саду пахнет зимой.

Мать никогда не знает, каким будет ее ребенок. И я знаю только одно — я хочу писать. Я слушаю, как далеко и сердито трубит пароход в открытом море, я слушаю свист ветра в голых сучьях за окном. Мои руки зябнут. Я прислоняюсь спиной к теплой печке и, кутаясь в легкое пальто, пишу обо всем, что мне приходит в голову.

Все, что я пишу, — баловство. Так говорит Сташевский. Но из этого тумана рождаются иногда простые и свежие образы. Я знаю это, и слова Сташевского проскальзывают мимо, не задевая сердца. Я могу писать обо всем, что мне хочется. Почему рассказ должен быть не меньше двух страниц? Пусть он будет в одну строчку — от этого он не станет хуже.

Туман стоит зеленой морской водой, рыжая осень осыпается в переулках, и глаза женщин темнеют от любви к крошечным детям.

Я пишу о сером и теплом вечере, когда от пасмурной воды еще сочится запоздалое тепло и запах подводных трав, о капризах детей с изумленными глазами. Все это небрежные слова, наброски, но эти образы преследуют меня.

Я пишу о теплом женском дыхании, сумраке приморских кафе, о Шелли, о снежной музыке Грига, о желтых берегах Эллады и смерти Байрона. Судорожно, словно боясь опоздать, я бросаю эти мазки из слов.

В лабораториях университета я наблюдал процесс кристаллизации. Из мутного раствора слагаются тонкие плоскости и растет прозрачный и твердый кристалл, преломляющий солнце. То же и со мной сейчас.

Каждое утро меня будит гомон воробьев. Я чувствую, как еще по-мальчишески молодо мое тело.

Алексей спит долго, зарывшись головой в подушку.

Мы все трое студенты. Мы вместе сдаем зачеты и работаем в вечерней газете. По вечерам Алексей считает строчки, а по утрам идет браниться из-за гонорара. Чаще всего он пишет обширные фельетоны о вещах злободневных — краже Джоконды, полетах Блерио и постройке Амурской дороги. Газетная работа выхолостила его

слова, отбила углы, и он одинаково легко пишет передовицы, рецензии и рассказы о прелестях бродячей жизни. Вдвоем мы сочиняем длинейший роман с продолжением — «Буылка джина в Одессе». Все это печатает старый, страдающий астмой издатель Днестропуло, прижимистый бритый старик.

Он терпит. Лишь изредка, перечитывая сотое продолжение, он кричит, притворно раздражаясь, в пространство:

— Что будет с этого романа в конце концов?! Что, я спрашиваю? Они далеко пойдут, эти молодые люди, — прямо в арестантские роты!

Нас связывает эта жизнь. Мы болтаемся большей частью без дела, просиживаем дни в трактирах, научились по цвету дыма отличать английский уголь от антрацита, а по оснастке — шхуны от баркантин и трамбаки от барков. Их изъеденные червем кузова полощутся в крепком рассоле порта. Особенно хорошо и просторно бывает в дождь, когда дым прилипает к влажному молу и в камбузах беспечные коки варят крепкий кофе.

По вечерам бульвары розовеют от пыли и заката. Исполинской медалью светит луна, и надрываются скрипки под полосатой парусиной баров.

Ночь, как тихий фонарщик, зажигает огни,

ветер гуляет по черному небу, и оскорбленно кричат пьяницы, вышвырнутые из кабаков.

Я много пишу. Меня волнуют самые звуки слов.

Смерть Оскара

Утром ко мне пришел Сташевский: умер старый Оскар.

Старику не везло — незадолго до смерти он потерял в трамвае единственную партитуру своей оперы. Он был потрясен и пил запоем несколько дней.

Мы пошли к Оскару. На сырой лестнице было темно и пахло мышами. Желтели стены, выкрашенные масляной краской, захватанные грязными пальцами.

В квартире стоял запах уксуса и нашатырного спирта. В передней на подзеркальнике спал жирный кот.

Оскар лежал на письменном столе в вицмундире, с новеньким орденом на груди. Лицо у него пожелтело, лишилось той нервности, что делала его привлекательным при жизни. Горели три свечи. Я взглянул на их желтые язычки и вспомнил почему-то вокзалы поздней ночью, когда пассажиры спят на темных скамьях и диванах, а за широкими окнами наливается сизая холодная заря.

Сташевский, бледный, с перекошенным лицом, долго смотрел на Оскара, и брезгливая усмешка подергивала его губы.

— Да, брат ты мой, — сказал он медленно. — Не люблю эти сентиментальные таланты. Слякоть!

На стене висели портреты Бетховена, Грига, Моцарта, Баха.

Мы принесли цветы. Белые и упругие, лежали они около рук Оскара, пергаментных и сухих. Только теперь я заметил, какие это были тонкие руки.

Было слышно, как на кухне кто-то выговаривал кухарке. Болела голова, ломило в висках, и хотелось поскорее уйти. Сташевский подошел к окну, перелистал пыльные ноты, посмотрел на портрет Баха на выгоревших обоях. Мы поцеловали Оскара в большой выпуклый лоб и вышли.

Ветер сыпал в глаза пыль, шелуху подсолнухов и сено. Преследовал запах уксуса и сладковатый смрад тления.

— Пакость, — сказал Сташевский, помолчал и сплюнул. — Какая пакость!

Хоронили Оскара на следующий день. Все было буднично и бедно. За гробом шла жена в дешевом трауре, черный креп блестел на ее шляпе, как слюда, шел его брат — немец с веселыми глазами, старухи — любительницы похорон,

гимназисты и факельщики в брюках с серебряными лампасами, в рыжих чудовищных сапогах. В стороне шли его ученики — Сташевский, Алексей, я и художник Винклер, тоненький, как девушка.

Сухощавый пастор, в элегантном пальто с бархатным воротником, раскрыл молитвенник и прочел по-немецки несколько длинных и скучных молитв. Пасмурное небо сулило дождь.

Битый кирпич стучал о крышку гроба.

Когда могилу засыпали, сразу стало легко.

— Ну что ж, — сказал Сташевский, — стоило жить, чтобы так умереть.

Родные ушли. Винклер написал на сосновом кресте синим карандашом:

Quid aeternis minorem
Consiliis animum fatigas?

Зачем вечными замыслами ты томишь
слишком слабую душу?

Темнело. Город рокотал вдали трамваями,
гудками пароходов, грохотом ломовых дрог —
прекрасными звуками жизни.

Жучок

Комнаты, улицы и пустые дворы пахли осенней листвой, и море шумело, как далекая память.

Осенью нам повезло — у Алексея завелись деньги. Мы втроем — Алексей, Сташевский и я — решили пойти в море со знакомым «рыбалкой». Он был черен и худ, как портовый босяк. Звали его Жучок. Баркас его — одномачтовая байда — совсем обветшал, — просмоленный парус весь цветился заплатами.

Жучок жил на Кривой косе. Ехали к нему степью. На бахчах желтыми горами лежали перезревшие тыквы. Белая пыль дымила из-под копыт лошадей, над балками розовело ленивое солнце. Внизу лежало море, прозрачное, как расплавленное стекло.

Хата Жучка стояла на песке. В ней пахло мелом и хлебом. Тихое море шептало за плетеным тыном.

Жучок был бобыль. Поставили погнутый самоварчик. Дым уходил высоко в небо. Мы долго пили крепкий кирпичный чай. Оранжевый вечер дремал над песками. Далеко пели девушки старую песню:

Ой, в Ерусалиме рано зазвонили, —

Молода дывчина сына спородила.

В хате Жучка, среди бумажных пионов, икон и гравюр неуклюжих кораблей, мы долго обсуждали плаванье.

Решили идти па Малую россыпь, к плавучему маяку — брандвахте.

Жучка мы знали и уважали давно. На косе он слыл за дурачка. За глаза его звали обидным прозвищем «Забродня». Не любили его за молчаливость, за довольство малым, за то, что на «рыскливой» и старой байде он решался выходить на несколько дней в открытое море.

Была давняя вражда между «бережными» рыбалками, осторожными и богатыми, и теми беспутными, «рисковыми», которые выходили ловить на самую «глыбь». Много «рисковых» гибло каждую осень во время ловли белуги. Улов они продавали за гроши грекам-скупщикам и пропивали заработок в дощатых кабаках.

Жучок был рисковой.

В прошлом году на Илью неожиданно задула трамонтана, ветер мчался глубокими порывами, крутил воду и нес полосы черных дождей. Рыбаки стали спешно уходить домой. Шли густо, парус за парусом. Один баркас перевернуло. Все шли своим путем, только Жучок, рискуя потопить свою ветхую байду, как-то извернулся, подошел и подобрал

людей. Возвратился он мокрый, посиневший, с трясущимися от холода руками. Развесил сети на тонях и поплелся домой, словно ничего не случилось, словно не спас двоих людей. Старые «бережные» рыбаки, морщинистые, с запеченными от солнца лицами и хитрыми глазами, еще долго говорили по косе:

— Дурной человек, бог его знает. Хоть бы по трешке с них взял.

С утра задула низовка. Море пенилось и шумело в красных берегах. Хлопали темные паруса. День, отлитый из желтого стекла, стоял над бахчами.

Шхуна клюнула осмоленным носом и тяжело пошла в море. Дождь брызг бил в лицо, высоко качались борта, плакали чайки, и громыхала по дну якорная цепь. Казалось, звенело все — и ветер, и чайки, и волны.

Я лежал на носу, на кубрике, вдыхал запах рыбы, шедший от бортов и сетей, и сознание дикой свободы наполняло меня. Я лежал, курил и ждал, когда солнце сядет в волнах и туманах там, далеко, у диких берегов Тавриды. Там — в вечерней мути — седая Керчь, обрывы Киммерии, поросшие чабрецом, одинокие маяки на песчаных побережьях, а дальше — в солнце и дыму — нарядные порты, яркие лица женщин, океанские

пароходы, пестрые иностранные флаги, запах богатых земель и преддверье Архипелага.

— Кидай бакан! — закричал Жучок.

Черный флаг бакана замотался на волне. Далеко полетел ржавый якорь на мокрой цепи.

Быстро постукивая деревянными поплавками о полированный борт, бежала в воду черная сеть. В сером небе горел зеленый огонь плавучего маяка. Ужинали в трюме. Мы жадно ели слегка зачерствелый белый хлеб. С жареной рыбы капало масло, маслины жгли десны.

Я выглянул за борт, где в черной воде сжимался и разжимался огонь маяка, прислушался и сказал:

— Великая меланхолия моря.

Жучок покрутил головой и засмеялся:

— Чудно!

После ужина Жучок вытащил из каюты пыльный фонарь, зажег и повесил на мачту. Робкий свет мигнул в суровом небе.

Наползали тучи. Вода пошла чернью. Медленно гасли в ней белые зерна звезд. Шхуна дергалась на дребезжащей цепи. На борту ее белела корявая надпись: «Господи, храни в море плавающих».

Среди ночи я проснулся. Не было вокруг ни моря, ни неба, ни шхуны. Глухая тьма качалась над нами, и кровь внятно звенела в ушах. На носу мигал

огонек папиросы. Жучок не спал.

Я пробрался к нему, закутался в пальто и лег рядом.

— Сколько времени? — спросил он сиплым голосом.

— Половина второго.

— Через час ломать будем. Как только зачнет сереть.

Мигнул маяк, и шхуна качнулась на черных цепях.

— Недужный я стал, должно к старости, — негромко пожаловался Жучок. — Грудь заложило. Всю ночь не спится, куришь, свою думку думаешь... Люди про меня брешут — штундист, духобор, Евангелие читает. Евангелие у меня древнейшее. Тут по степу один человек ходил — ни монах, ни странник, — не поймешь, что он такое. Он мне Евангелие продал. Да... Прочел я в нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом; ибо ваше есть царствие божие». А где оно? На море, вот где. Иной раз задумаешься — есть ли оно, царствие небесное, райский край? А как глянешь на море, небо над ним ясное, воздух легкий, — думаешь, есть. А может, есть еще и получше моря. Царствие божие далеко, а бога, брат, не видать... Матрос один на косу воротился из флота, — на бога, говорит, рыбачки, теперь не надейтесь, бог теперь в пенсне, вроде, говорит, как профессор, боится руки

об вас замарать.

— Да, — сказал Жучок и сплюнул. — Рассказывают всякое. Брала меня раньше злоба на людей: что они из себя сделали — смотреть страшно. Живу я по-своему. Думок много. Боюсь, до смерти всего не передумаешь. А на людей сердиться — пустое дело, себя только портить.

К полудню сорвался ветер. Маяк закрыло холстом дождя. С плеском и гулом проносились шквалы. Мы натянули рваные клеенчатые плащи. Шли по ветру в соседний порт, — домой пути не было. К полудню шквалы уже неслись сплошными стенами, мы мчались в воздушных коридорах между ними, и тучи легли темным дымом на сизую воду. Мокрый ветер бил в лицо, синие рыбы блестели и прыгали в трюме, и соль саднила на лопнувших губах. Шхуна тяжело оседала, по корме хлестала жидкая пена.

— К вечеру дойдем, — успокоительно сипел Жучок и вытирал реденькие усы.

Стыли мокрые ноги. В сумерки море и ветер кричали тысячами голосов. Гул стремительных шквалов стал страшен. Мы попали в полосу шторма. Казалось, что солнце погасло навсегда и не вернется на неудобную землю. Ветры точно сорвались с чугунных цепей. Беспомощные, молчаливые и мокрые, мы всматривались